

МИКАЭЛЬ
НИЕМИ

ПОПУЛЯРНАЯ
МУЗЫКА
ИЗ ВИТТУПЫ

AUGUSTPRISET

Премия имени
Августа Стриндберга



Микаель Ниemi

Популярная музыка из Виттулы

«Фантом Пресс»

2000

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)

Ниemi М.

Популярная музыка из Виттулы / М. Ниemi — «Фантом Пресс»,
2000

ISBN 978-5-86471-857-5

На самом севере Швеции, в глуши, которую местные называют Виттулаянккой, что означает Сучье Болото, мало что знают о том, что происходит в большом мире. На дворе 1960-е, и в мире вовсю гремит рок-н-ролл, но в Виттуле слыхом не слыхивали о нем. Здесь все иначе, чем где-то там, где большие дома, красивые машины и толпы людей. Здесь царство снега зимой и комаров летом. Местные жители – шведы, саамы и финны – по-шведски говорят с финским акцентом, а по-фински – со шведским. Главное развлечение – охота до одури, сауна, раскаленная почище самого ада, праздничные пиршества, которых и Гаргантюа бы испугался. Но жизнь в Виттуле бьет ключом. С кем только не довелось повстречаться двум мальчишкам, Матти и Нииле – с чернокожим пастором, неведомо как очутившимся у Полярного круга, и с ведьмой, и с прекрасной девушкой на роскошном авто, и с пришельцами из загадочного места под названием Миссури, и главное – с пластинкой «Битлз», которая перевернет их жизнь. «Популярная музыка из Виттулы» – книга о самом волшебном времени, о детстве, о том, как оно постепенно растворяется во взрослости, но остается в памяти как лучшее, что было с тобой, как рок-н-ролл мюзик.

УДК 821.113.6

ББК 84(4Шве)

ISBN 978-5-86471-857-5

© Ниemi М., 2000
© Фантом Пресс, 2000

Содержание

Пролог	6
Глава 1	9
Глава 2	14
Глава 3	22
Глава 4	25
Глава 5	30
Глава 6	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Микаель Ниemi

Популярная музыка из Виттулы

Пролог

Автор просыпается, начинает восхождение и выставляет себя на посмешище на перевале Торонг-Ла, с чего и начинается это повествование.

Ночевка в деревянной клетушке выдалась на редкость холодной. Запищал мой походный будильник, я проснулся, резко сел, ослабил шнурок спального мешка, оставлявший узкое отверстие для лица, и высунул руку в ледяную тьму. Пальцы долго шарили по шершавому полу, усеянному щепками и песчинками, в щели между половицами задувал холодный ветер. Наконец моя рука нащупала холодную пластмассу будильника с кнопкой.

Некоторое время я лежал неподвижно, полудремал, распятый на доске, с рукой, погруженной в море. Тишина. Холод. Мелкое прерывистое дыхание в разреженном воздухе. Все тело ломило, словно за ночь я натрудил мышцы.

Тогда, именно в тот миг, я понял, что мертв.

Это состояние трудно передать словами. Тело будто высосали. Я превратился в камень, в гигантский ледяной метеорит пепельного цвета. Внутри меня зияла каверна, где шевелилось инородное тело, что-то продолговатое, мягкое и органическое. Труп. Но не я. Я был камень, я только обволакивал остывающий образ, я был наподобие исполинского, плотно облегающего гранитного саркофага.

Это ощущение длилось секунды две, самое большее – три.

Потом я зажег фонарик. На циферблате будильника высветилось 00:00. В этот момент отчаяния я уже решил, что время остановило свой ход, что оно больше не поддается счислению. Но, поразмыслив, понял, что просто случайно сбросил цифры, когда искал кнопку будильника. Часы на руке показывали двадцать минут пятого. Края дыхательного отверстия в мешке покрылись инеем. Температура была ниже нуля, хотя ночевал я в доме. Я вылез навстречу холоду, выкарабкался из мешка, одетый во все, что у меня было, сунул ноги в промерзшие туристические ботинки. Поеживаясь от холода, положил в рюкзак чистый дневник. Опять ничего за целый день. Ни одного наброска, ни единой записи.

Откинув дверной крючок, шагнул в ночь. Бездонное небо, усыпанное звездами. На горизонте, как челн на волнах, качался полумесяц, со всех сторон угадывались остроконечные силуэты гималайских титанов. Звезды горели так ярко, что свет их струился по земле – острые белые лучики, просеянные в громадное сито. Я взвалил на спину рюкзак – одно это несложное занятие стоило такого труда, что мне пришлось отдышаться. От недостатка кислорода в глазах заматались мушки. Высотный кашель раздирал глотку: сухие хрипы, 4400 метров над уровнем моря. Передо мной забрезжила тропа, она круто взбегала на каменистый склон и исчезала в темноте. Медленно, очень медленно начал я мое восхождение.

Перевал Торонг-Ла, массив Аннапурны в Непале. Высота 5415 метров. Я сделал это. Я добрался до вершины! Такая легкость во всем теле, я опрокидываюсь на спину и учащенно дышу. Ноют ноги, налитые молочной кислотой, стучит в висках, болит голова – это первая стадия высотной болезни. Тревожно пылает рассвет. Нежданный резкий порыв ветра предупреждает, что погода скоро испортится. Мороз кусает щеки, я вижу, как горстка туристов, торопливо собрав рюкзаки, начинает спускаться к Муктинату.

Я остаюсь один. Нет, не могу уйти, рано еще. Так и не отдышавшись, сажусь. Прислоняюсь к обелиску, на котором полощутся флаги с тибетскими молитвами. Перевал выложен

камнями, безжизненная грудa валунов, ни травинки. По обе стороны высятся горные пики – черные грубые фасады, украшенные белыми, сверкающими ледниками.

Редкие первые снежинки хлестко бьются о куртку, подгоняемые порывами ветра. Плохо дело. Если заметет тропинку, идти будет опасно. Я озираюсь, других туристов сзади не видать. Надо торопиться.

Нет, не могу. Никогда в жизни я не забирался так высоко. Надо же как-то попрощаться. Поблагодарить. Импульсивно встаю на колени перед обелиском. Наверное, со стороны это выглядит смешно, но, оглянувшись еще раз, убеждаюсь, что вокруг ни души. Я подаюсь вперед, по-мусульмански задрав зад, кланяюсь и шепчу слова благодарности. На обелиске литая железная пластина с тибетскими письменами. Что там написано, я не знаю, но вся надпись проникнута торжественностью и величием; я сгибаюсь еще сильнее и припадаю губами.

И тут же погружаюсь в подвалы памяти. Скоростной лифт вихрем уносит меня в детство. Из трубы, уходящей вглубь времен, кто-то спешит предупредить меня об опасности, да поздно.

Я прилип.

Влажные губы вмерзли в тибетскую молитвенную доску. Я пытаюсь смочить ее языком, но и язык приклеивается.

Каждый ребенок на севере хоть раз да побывал в моей шкуре. Студеный зимний день, перила на мосту, фонарный столб, заиндевевшая железяка. В памяти отчетливо всплывает эпизод. Мне пять лет, я прилип языком к амбарному замку на мосту в Паяле. Сперва полное изумление. Когда я дотрагивался до замка варежкой и даже пальцем, ничего ведь не было. Оказывается, это коварный капкан. Я хочу позвать на помощь, но с прилипшим языком сделать это не так-то просто. Я отчаянно размахиваю руками, пытаюсь оторваться силой, но мне слишком больно. От стужи язык начинает неметь, рот наполняется кровью. Я бешено колочу ногами в дверь, отчаянно мычу:

– Мммыы, мммыы...

Тогда на помощь мне приходит мама. Она приносит чашку теплой воды, вода течет по замку, освобождая губы. На замке висят ошметки кожи, я клянусь, что больше никогда в жизни...

– Мммыы, мммыы, – мычу я, а снег тем временем идет все сильнее.

Меня никто не слышит. Если кто и поднимается, сейчас он обязательно повернет обратно. Задница торчит в небеса, ветер злобно стегает ее, леденит. Рот понемногу немеет. Сняв перчатки, пытаюсь отодраться руками, отогреть плиту горячим дыханием. Бесполезно. Железо вбирает в себя тепло, но теплее не становится. Я хочу поднять плиту, вырвать из земли. Но она вмерзла, не шелохнется. По спине течет пот. Ветер задувает под куртку, пробирая до костей. Надвигаются низкие тучи, заволакивая перевал серой мглой. Страшно. Ох как страшно! Все сильнее ужас. Я умру здесь. С губами, вмерзшими в тибетскую плиту, я не продержусь до следующего утра.

Остается одно. Надо рвануть с мясом.

От одной мысли мне становится не по себе. Но делать нечего. Я делаю пробный рывок. Боль пронизывает язык аж до самого корня. Раз... два... ну...

Хруст. Кровь. Такая боль, что я стукаюсь головой в плиту. Не идет. Рот приклеен как был. Рвани я сильнее, остался бы без лица.

Нож. Был бы у меня нож. Пытаюсь нащупать ногой рюкзак, но рюкзак валяется в нескольких метрах от меня. Живот сжимается от страха, содержимое мочевого пузыря грозит вылиться прямо в штаны. Стоя на четвереньках, как корова, расстегиваю ширинку.

Тут меня осеняет. Сдергиваю с пояса походную кружку. До краев наполняю мочой. Лью на губы. Моча течет по губам, те оттаивают, раз, два и я на воле.

Так я отписал себе жизнь.

Встаю на ноги. Молитва окончена. Язык и губы онемели, кровоточат. Но слушаются. А значит, я наконец-то могу начать мой рассказ.

Глава 1

Как Паяла шагнула в будущее, как возникла музыка и как два мальчика отправляются в путешествие налегке

Дело было в начале шестидесятых, когда наш район в Паяле начали асфальтировать. Однажды я услышал приближающийся гул. Мимо дома ползла вереница машин, похожая на танковую колонну; они остановились и принялись ровнять и раскатывать ухабистую щебенчатую дорогу. Это было в начале лета. Повсюду вразвалочку расхаживали рабочие в спецовках, сплевывали жеваный табак, орудовали ломами и непонятно лопотали на финском, а местные бабы тем временем пялились на них из-за занавесок. Все это было дико интересно пятилетнему мальцу. Я торчал за штaketником, наблюдал за происходящим в просвет и втягивал носом выхлопы солярки, шедшие от бронированных чудовищ. Они вгрызались в извилистый бо́льшак словно в заплесневелую пададь. Глинистая колея с неисчислимым множеством мелких рытвин, наполнявшихся водой во время дождя, – изрытый оспинами хребет; во время оттепели дорога превращалась в жидкую размазню, летом ее пересыпали солью, как мясо, чтобы не пылила. Щебенка вышла из моды. Она была пережитком прошлых времен. Родившись вместе с ней, наши отцы и матери не пожелали оставить ее после себя.

В народе наш район называют Виттулаянккой, что можно перевести как “Сучье Болото”. Откуда взялось это название, неизвестно. Возможно, оно появилось оттого, что здесь рождалось очень много детей. В большинстве семей было по пять и даже более ребятешек, стало быть, название это было грубым намеком на женское плодородие. В Виттулаянке, или просто Виттуле, как иногда сокращали название, жили в основном выходцы из сельской бедноты, детство которых пришлось на неурожайные тридцатые годы. Благодаря тяжелому труду и благоприятной конъюнктуре они выбивались в люди и получали возможность взять ссуду на строительство собственного дома. Швеция процветала, экономика росла, и вот прогресс докатился наконец и до Турнедалена. Перемены к лучшему произошли так внезапно, что люди все еще не верили в свое богатство. То и дело появлялся страх, что у тебя вот-вот все отнимут. Вот и теперь взволнованные хозяйки прятались за расшитыми занавесками, удивляясь, какая хорошая пошла нынче жизнь. Теперь и у тебя, и у твоих детей есть свой дом. Вдосталь денег, чтобы купить одежду, дети не ходят в латаном-перелатаном. Машина и та есть. Теперь вот щебенку снимают, а на ее месте положат жирный черный асфальт. Нищета нарядится в черную кожаную куртку. Вот оно, будущее-то, стелется, гладкое, как щека. По нему на новых велосипедах поедут наши детки, вперед к благополучию и техническому образованию.

Гудели и мычали разгрузчики. Ссыпали гравий грузовики. Катки трамбовали будущую дорогу огромными стальными валами с такой невероятной силой, что мне захотелось сунуть под них мою детскую ножку и посмотреть, что будет. Я кидал под каток гирбули, а когда он проезжал, бежал искать, но камни бесследно исчезали. Исчезали как по волшебству. Это было страшно и восхитительно. Я положил ладонь на ровную поверхность. Удивительно холодная. Как такая неровная щебенка становится гладкой, будто простыня? Я взял в кухне вилку, кинул ее, потом пластмассовый совок. Но и они пропали без следа. Я и сегодня не знаю, остались ли они там в асфальте или вообще испарились каким-то колдовским способом.

В ту пору старшая сестра купила первый в жизни проигрыватель. Когда она ушла в школу, я прокрался в ее комнату. На письменном столе стояло оно, пластмассовое чудо техники, – маленький блестящий черный ящик с прозрачной крышкой, под которой скрывались странные кнопки и регулятор. По столу разбросаны бигуди, помада и дезодоранты. Все – новье, ненужная роскошь, символ нашего достатка и залог будущей беззаботной и благополучной жизни. В лаковой шкатулке – гора фоток с кинозвездами и кинобилетов. Сеструха коллекционировала

их, принося связками из кинотеатра “Вильгельмссонс”. На обороте писала название фильма, исполнителей главных ролей и ставила оценку.

На пластмассовой стойке, напоминавшей решетку для посуды, сестра выставила единственный сингл. И взяла с меня торжественную клятву, что я не посмею даже дышать на него. И вот я непослушными пальцами схватил пластинку, погладил лаковую обложку, где был изображен молодой стилига с гитарой в руках. Черный чуб спадал на лоб, стилига улыбнулся и встретился со мной взглядом. Бережно, очень бережно вынул я черный виниловый диск. Осторожно снял крышку. Пытаясь делать все, как делала сестра, я положил пластинку на тарелку. Так, чтобы дырочка пластинки попала на пипку в середине тарелки. Потев от нетерпения, включил ток.

Тарелка дернулась и пошла вертеться. Я пришел в неописуемый восторг, подавив в себе желание дать стрекача. Неуклюжие детские пальцы схватили змею, черную упругую змею с ядовитым зубом, жестким, словно зубочистка.

Раздалось потрескивание, как будто жарились шкварки. Сломалась, подумал я. Я испортил пластинку, она больше не будет играть.

– БАМ-БАМ... БАМ-БАМ...

Ага, нет, играет! Тяжелые аккорды. И заводной голос Элвиса.

Я стоял как вкопанный, позабыв сглатывать слюну, которая струйкой текла с губы. Чувствовал, как кружится голова, как сперло дыхание.

Вот оно, будущее. Вот как оно звучит. Музыка, похожая на гудки асфальтоукладчиков, на их нескончаемый грохот, на вой сирены, зовущий к багряному небосклону, окрашенному лучами рассвета.

Я нагнулся и выглянул в окошко. Из выхлопной трубы грузовика шел дым, я понял, что укладка началась. Но это был не черный, лоснящийся асфальт. Это был асфальтобетон. Грязно-серый, узловатый. Вот по нему-то мы, паяльцы, и покатым в будущее.

Когда машины наконец убралась восвояси, я начал потихонечку обследовать окрестности. Мир перед моими глазами рос с каждым шагом. Новая асфальтированная дорога соединялась с другими новыми дорогами, мимо тянулись пустынные тенистые парки, громадные псы облаивали меня, беснуясь на звенящей цепи. Чем дальше я шел, тем больше картин открывалось мне. Мир был бесконечен, он все время рос, и, когда я понял, что могу идти вот так сколь угодно долго, я почувствовал головокружение, почти до тошноты. Набравшись храбрости, я спросил отца, который намывал свой новенький “вольво”:

– А земля большая?

– Ужасно большая, – ответил отец.

– Но у нее же есть край?

– Есть. В Китае.

От такого прямого ответа мне стало немного легче на душе. Значит, если долго идти, то рано или поздно дойдешь до края. И край этот – в царстве мяукающих узкоглазых людей на другой стороне земли.

Стояло лето, жара была невыносимой. Я лизал ледяное мороженое, оно капало и намочило мне рубашку. Вышел со двора, покинул свою крепость. Изредка оглядывался назад, чтобы увериться, что не заблудился.

Пошел на детскую площадку (на самом деле это был старый выгон, затесавшийся посреди поселка). Поселковые власти поставили здесь качели, и вот я плюхнулся на узкое сиденье. Начал энергично раскачивать цепи, чтобы набрать скорость.

Внезапно я почувствовал, что за мной наблюдают. На горке сидел какой-то пацан. Он расположился на самой верхушке, будто собираясь скатиться. Но вместо этого, словно гриф, застыл в выжидательной позе и смотрел на меня во все глаза.

Я насторожился. Что-то с этим парнем не так. Не было его там, когда я пришел, он точно с неба свалился. Я притворился, что не заметил его, и принялся раскачиваться, качели взлетали так высоко, что цепи обмякали в моих руках. Зажмурился, слушая, как замирает в желудке, когда качели ускоряют свой бег к земле и, поравнявшись с ней, стреляют ввысь.

Когда я открыл глаза, он уже сидел в песочнице. Он что, туда на крыльях перелетел? Я не слышал ни звука. Мальчик по-прежнему пристально разглядывал меня, сидя ко мне боком.

Я замер, качели замедлили ход. Тут я подпрыгнул, кувыркнулся через голову и плюхнулся на траву. Стал разглядывать небо. Белые облака бежали над рекой. Они напоминали больших пушистых барашков, спящих на ветру. Когда я закрыл глаза, то увидел, как по внутренней стороне век бегают какие-то букашки. Маленькие черные точки, ползающие по красной пелене. Я зажмурился крепче и обнаружил, что в животе у меня бегают фиолетовые лилипуты. Они карабкались друг на дружку, образуя узоры. Еще там были разные звери, там открывался целый мир. Меня вдруг поразила мысль: мир состоит из множества кулечков, повязанных один поверх другого. Сколько ни развязывай – внутри всегда будет новый.

Я открыл глаза и вздрогнул от неожиданности. Рядом со мной лежал тот мальчик. Он растянулся на спине почти вплотную ко мне, так что я чувствовал его тепло. Лицо у него было удивительно маленькое. Сама голова была нормальная, но вот черты лица сбились в кучу на крошечном участке. Словом, лицо как у куклы, прилепленное на большой коричневый мяч. Коротко остриженные волосы с выхваченными кусками, на лбу засохшая корка ссадины, уже отваливающаяся. Он сощурил один глаз, верхний, в который попадало солнце. Нижний прятался в траве и был широко открыт, в огромном зрачке я видел свое отражение.

– Как тебя зовут? – поинтересовался я.

Он не ответил. Не шелохнулся.

– *Микас синун ними он?* – повторил я вопрос по-фински.

Тут он открыл рот. Улыбкой это назвать нельзя, но можно было разглядеть зубы. Они были желтые, давно не чищенные. Мальчик поковырял мизинцем в ноздре – остальные пальцы были слишком велики для этой тонкой работы. Я сделал то же самое. Извлекли каждый свою козявку. Он сунул свою в рот и проглотил. Я замялся. Тогда он выхватил и мою козявку, быстро отправил вдогонку первой.

Так я понял, что он хочет подружиться со мной.

Мы сели в траве, и мне захотелось тоже произвести впечатление на моего нового приятеля.

– Можно поехать куда захочешь!

Мальчик жадно слушал мои слова, но я не был уверен, что он понимает.

– Даже в Китай, – продолжил я.

Чтобы доказать серьезность моих слов, я поднялся и направился к дороге. Вальяжно, напустив на себя помпезную самоуверенность, чтобы не выдать волнение. Он увязался за мной. Мы дошли до церковной сторожки, выкрашенной в желтый цвет. У дороги стоял автобус, на нем явно приехали туристы, чтобы поглазеть на музей Лестадиуса. Автобус стоял с открытой дверью, для проветривания, водителя поблизости не было. Я вошел, втянув за собой приятеля. На немного отсыревших сиденьях разбросаны куртки и сумки. Мы спрятались сзади за спинкой последнего кресла. Вскоре в автобус, пыхтя и потея, начали карабкаться пожилые тетки, расселись по местам. Они говорили на каком-то гавкающем языке и большими глотками отхлебывали из бутылок с лимонадом. Потом к ним присоединились еще несколько пенсионеров. Подошел шофер, положил под губу заряд табака. И мы отправились в путь.

Молча, во все глаза глядели мы на проплывающие картины. Вскоре оставили Паялу – крайние дома скрылись из виду – и поехали лесами. В жизни не видел я столько деревьев, они тянулись и тянулись бесконечно. Вдоль дороги стояли старые телеграфные столбы с фарфоровыми чашками, а между ними, в духоте, унылой дугой провисали тяжелые провода.

Нас заметили, только когда мы проехали много километров. Я случайно стукнулся в спинку сиденья, и сидевшая на нем тетенька с ноздреватыми щеками обернулась ко мне. Я предупредительно улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, порылась в сумочке и угостила нас конфетами из диковинного мешочка. Что-то сказала, но я не понял что. Тогда она показала на шофера и спросила:

– *Папа?*

Я кивнул, натужно улыбаясь.

– *Хабт ир хунгер?* – снова спросила она.

Не успели мы сообразить, как она вручила нам по бутерброду с сыром.

После долгой тряски мы наконец затормозили на большой стоянке. Пассажиры высыпали наружу, я и мой приятель – с ними. Нашему взору открылось низкое широкое здание из бетона с плоской кровлей, из которой щетиной торчали высокие стальные антенны. Дальше, за железной решеткой, стояло несколько аэропланов. Шофер открыл багажник и начал выкладывать чемоданы. У нашей благотельницы была целая гора чемоданов, и она ужасно беспокоилась. На лбу под шляпой блестели бусинки пота, тетенька посасывала зубы, неприятно причмокивая. Мы с приятелем решили отблагодарить ее за гостинцы и схватили тяжелый чемодан. Втащили его в здание аэровокзала, там перед столом диспетчера уже возбужденно гудела орава пенсионеров, размахивающих всевозможными документами. Диспетчерша в форме терпеливо пыталась их построить. Так, организованным шагом, мы миновали турникет и пошли к самолету.

Это был мой первый полет. Оба мы чувствовали себя немного неловко, но красивая стюардесса с карими глазами и сердечками в ушах помогла нам пристегнуть ремни. Моему товарищу досталось место у иллюминатора, мы с растущим торжеством глядели, как раскручиваются блестящие пропеллеры, все быстрее, быстрее, вот уже совсем слились в единый невидимый круг.

Начали взлетать. Меня вжало в сиденье, колеса стали подпрыгивать, потом легкий рывок – оторвались от земли. Мой приятель в восторге тыкал в иллюминатор. Летим! Внизу простирался мир. Люди, дома, машины, съжившиеся до игрушечных размеров, такие маленькие, что можно было положить их в карман. Потом со всех сторон нас обступили облака, белые снаружи, серые, как овсянка, внутри. Протаранив облака, продолжили подниматься, все вверх и вверх, пока не достигли купола неба, и тогда стали парить – медленно, почти незаметно.

Приветливая стюардесса угостила нас соком, это было кстати – ужасно захотелось пить. Потом мы попросились в туалет, и она проводила нас в крошечную кабинку, где мы по очереди выпростали из штанов свои пипки. Моча падала в отверстие, и я представил, как она прольется на землю мелким золотым дождем.

Потом нам дали альбомы и мелки. Я нарисовал, как столкнулись два самолета. Ощипанная голова моего товарища все больше клонилась назад, так он и заснул с открытым ртом. От его дыхания запотел иллюминатор.

После долгого перелета мы приземлились. Пассажиры как один ринулись вон, в суматохе мы потеряли из виду нашу тетеньку. Я подошел к старичку в фуражке и осведомился, не есть ли это тот самый Китай. Он покачал головой и указал на бесконечно длинный коридор, по которому шел народ с чемоданами. Мы пошли по этому коридору, я несколько раз вежливо спрашивал, пока мы наконец не увидели людей с узкими глазами. Я решил, что эти уж точно едут в Китай, так что мы сели рядом и стали терпеливо ждать.

Спустя какое-то время подошел дяденька в синей форме и стал нас расспрашивать. У нас будут неприятности – это читалось в его глазах. Потому я застенчиво улыбнулся ему и притворился, что не понимаю.

– Папа, – пролепетал я, указывая куда-то вдаль.

– Ждите здесь, – сказал он и быстро ушел.

Едва он скрылся, мы перебрались на другую скамью. Скоро мы познакомились с черно-волосой китайкой в гетрах, которая собирала забавный конструктор. Она разложила пластмассовые кусочки на полу и стала объяснять нам, как сделать дерево, вертолет, да все что угодно. Без умолку болтала и размахивала тонкими ручками, кажется, ее звали Ли. Она кивнула в сторону скамьи, где читал газету какой-то строгий дяденька и сидела взрослая девочка со жгучими черными волосами. Я решил, что это сестра девочки. Она ела сочный красный фрукт, красиво нарезанный специальным фруктовым ножом, и вытирала губы салфеткой с отороченными краями. Когда я подошел к ней, она с сытым видом предложила мне взять кусочек. Фрукт был настолько сладкий, что я прямо задрожал от удовольствия – в жизни не ел такой вкуснятины. Я подтолкнул товарища, чтобы и он попробовал. Он смаковал с полуопущенными веками. В виде благодарности неожиданно вытащил спичечный коробок, приоткрыл его и дал китайкам заглянуть в щелку.

В коробке скребся большой жук с зеленым отливом. Старшая сестра протянула ему маленький кусочек фрукта, но жук вдруг взлетел. С басовитым рокотом покружился над всеми узкоглазыми путниками, сидевшими в креслах, над двумя тетками со спицами в волосах, задравшими головы от изумления, обогнул гору чемоданов, увенчанную парой небрежно упакованных оленьих рогов, и, задевая лампы дневного света, поплыл по коридору в ту самую сторону, откуда мы пришли. Мой приятель поскуачел, а я взялся утешать его, говоря, что жук точно полетит домой в Паялу.

В это время что-то объявили по громкоговорителю и все засуетились. Мы помогли китайке сложить конструктор в сумку для игрушек и в сутолоке продрались через турникет. Этот самолет был куда больше предыдущего. Вместо пропеллеров на крыльях у него висели большие турбины, которые начали свистеть. Свист перерос в оглушительный вой, но стих, когда мы устремились к серой пелене облаков.

Так мы прибыли во Франкфурт. И кабы у моего безмолвного спутника не прихватило живот и он не устроился катать прямо под столом, то, честное слово, то, совершенно верно, то, без тени всякого сомнения, мы добрались бы до Китая.

Глава 2

О вере живой и мертвой, о страстях по шурупам и об одном удивительном происшествии в Паяльской церкви

Я стал водиться с моим молчаливым приятелем и вскоре в первый раз попал к нему в гости. Его родители оказались лестадианами, последователями Ларса Леви Лестадиуса, который когда-то давным-давно основал в Каресуандо секту харизматического пробуждения. Изрыгая проклятия почище иного грешника, этот приземистый батюшка обличал в своих гневных проповедях пьянство и блуд, да с таким жаром, что отголоски этих проповедей докатились до наших дней.

Лестадианину мало называться верующим. Мало просто окунуться в купель, причаститься или заплатить церковный оброк. Вера должна быть живой. Однажды старого лестадианского проповедника спросили, что он понимает под живой верой. Тот долго думал и наконец ответил с глубокомысленным видом, что это все равно что всю жизнь подниматься в гору.

Всю жизнь подниматься в гору. Хм... Довольно трудно представить. Вот ты отдыхаешь на приволье, гуляя по узкой извилистой турнедальской дорожке где-нибудь между Паялой и Муодосломполо. Буйствует красками молодое лето. Тропинка бежит по сосновому редколесью, из болотца доносится запах тины и солнца. На обочине клюют щебенку глухари, но при виде человека поспешно улепетывают в кусты, шурша крыльями.

Вот уже и первый пригорок. Ты замечаешь, как земля начинает уходить вверх, как напрягаются твои икры. Пустяки, – подумаешь, бугорок. Там наверху, очень скоро, дорожка вновь расстелется перед тобой сухой лесной гладью с белыми шапками ягеля меж исполинских стволов.

Однако подъем продолжается. Он оказался длиннее, чем ты думал. Устали ноги, ты замедляешь шаг и все нетерпеливее поглядываешь на верхушку склона, которой вот-вот достигнешь.

А верхушки-то и нет. Дорога уходит вверх и вверх. Лес такой же, как прежде, лощинки и молодая поросль, кое-где уродливые вырубки. А подъем продолжается. Словно кто-то взял всю местность за край да и оторвал от земли. Приподнял дальний от тебя конец и что-то подложил под него шутки ради. Тут закрадывается предчувствие, что сегодня подъем не кончится. И завтра тоже.

Но ты упрямо идешь и идешь в гору. Незаметно дни становятся неделями. Ноги уже порядком нагружены, нет-нет да и помянешь того шутника, который так ловко все подстроил. Нехотя признаешь, что шутка удалась. Но уж за Паркайоки-то подъем закончится, всему же должен быть предел. И вот ты в Паркайоки, а подъем не кончается, ну что ж, тогда в Киткиэйоки.

Недели складываются в месяцы. Ты меряешь их шаг за шагом. И выпадает снег. Тает и снова выпадает. И где-то между Киткиэйоки и Киткиярви ты уже готов плюнуть на все это. Дрожат ноги, болят суставы, последние силы на исходе.

Но ты делаешь привал и, преодолевая усталость, продолжаешь путь. Тем более что до Муодосломполо уже рукой подать. Изредка, понятное дело, навстречу тебе попадаются путники, идущие туда, откуда ты пришел. Весело семячат под уклон по дороге в Паялу. Некоторые даже едут на велосипедах. Катятся себе в седле, отпустив педали, так с комфортом и доезжают до конца. В твоей душе зарождается сомнение, надо признать это. Внутри тебя происходит борьба.

И шаги твои становятся короче. Идут годы. И ты уже близко, совсем близко. И снова выпадает снег, так и должно быть. Глаза слезятся от вьюги, ты что-то замечаешь. Кажется, что-

то забрезжило вдали. Лес редееет, расступается. За деревьями замаячили дома. Вот он! Вот он, Муодосломполо! Последний шаг, последний дробный и дрожащий шажок...

Во время панихиды священники говорят, что ты почил в живой вере. Истинно так. Ты почил в живой вере, *sie kuolit elävässä uskossa*. Ты пришел в Муодосломполо, все мы тому свидетели, отныне ты восседаешь на золотом багажнике велосипеда Господня, и вечный путь твой лежит под уклон, осеняемый трубными гласами ангелов.

Выяснилось, что у моего товарища все-таки есть имя, мать звала его Ниилой. Его родители строго следовали христианским заповедям. Несмотря на обилие детишек, в доме царила гулкая тишина, как в храме. У Ниилы были два старших брата и две младшие сестры, еще один ребенок ворочался в брюхе у его матери. И, поскольку каждое чадо есть дар Божий, со временем ребятни в доме должно было только прибавиться.

Удивительно, как вся эта орава могла вести себя так тихо. Игрушек было немного, да и то в основном некрашенные деревянные самоделки, выструганные старшими братьями. Младшие играли этими деревяшками молча, немые как рыбы. Виной тому не только религиозное воспитание, такую картину можно наблюдать и в других турнедальских семьях. Просто они не разговаривали. Может, из застенчивости, может, из гнева. Может, просто потому, что обходились без слов. Родители открывали рты только за обедом, если же им было что-то нужно, показывали рукой или кивком головы, дети вторили им.

Придя к Нииле в гости, помалкивал и я. Дети вообще остро чувствуют ситуацию. Я разулся на крыльце и мягко, точно на кошачьих подушечках, прокрался внутрь, склонив голову и немного сутулясь. На меня уставилась добрая дюжина глаз – из качалки, из-под стола, от буфета. Детские глаза впились в меня, потом резко отвернулись, стали блуждать по кухонным стенам, по сосновому полу, но все время возвращались ко мне. Я тоже глядел во все глаза. Личико у меньшей сестренки скорчилось от испуга, рот открылся, обнажая молочные зубы, потекли слезы. Она заплакала, но и плач ее был беззвучным. Просто наморщились щеки, а пухлые ручки теребили мамин подол. Мать носила косынку даже в доме. Она месила тесто, по локти погрузив руки в кадку. От ее мощных движений мука вздымалась столбом, золотом вспыхивая в лучах солнца. Мать не обратила на меня внимания, Ниила принял это как знак одобрения. Он потянул меня к своим старшим братьям, которые сидели на кушетке, обмениваясь шурупами. Должно быть, это была своеобразная игра, мудреная сортировка по коробочкам и отделениям. Потом они стали сердиться и молча рвать шурупы друг у друга из рук. Одна гайка упала на пол. Ниила украдкой цапнул ее. Старший из братьев молниеносно перехватил его руку и нажал с такой силой, что Ниила, замирая от боли, разжал ладонь, и гайка упала в прозрачную пластмассовую коробку. Тогда средний брат опрокинул коробку. Содержимое с барабанной дробью рассыпалось по деревянному полу.

На секунду все замерло. Все взгляды были прикованы к братьям, как к полотну экрана, когда пленка зажевывается, чернеет, мнется, – треск, и экран становится белым. Я почуял в воздухе ненависть, сам того не осознавая. Братья кинулись друг на друга, схватившись за отвороты рубах. На руках вздулись бугры, братьев стягивало, как два мощных магнита. При этом они неотрывно сверлили друг друга черными, чернее сажи, зрачками – два зеркала, составленные вместе, но отдаляющие друг друга до бесконечности.

Вдруг мать швырнула тряпку. Тряпка просвистела по кухне как комета, оставляя за собой белый хвост муки, и смачно вцепилась в лоб старшему. Мать приняла грозную позу, неторопливо отирая тесто с рук. Меньше всего ей хотелось провести целый вечер, пришивая оторванные пуговицы. Братья нехотя расцепились. Поднялись и вышли вон.

Мать подняла тряпку, помыла руки и вернулась к стряпне. Ниила собрал все шурупы в пластмассовую коробку, положил ее в карман и просиял. Потом краешком глаза покосился в сторону окна.

Братья сошлись посреди двора. Руки летали, раз за разом сокрушая скулы. От мощных затрещин бритые черепушки сотрясались, как брюквы. Но ни криков, ни брани. Удар за ударом – в низкий лоб, в пятак, мощные плюхи по пылающим ушам. Старший был шире в плечах, младшему, чтобы ударить, приходилось подпрыгивать. У обоих из носа текла юшка. Кровь капала и брызгала во все стороны, костяшки покраснели. Но братьев было не остановить. Бах! Шлеп! Тресь! Хлоп!

Нас угостили соком и булочками с пылу с жару – такими горячими, что, откусив, надо было сперва подержать кусок в зубах, а уж потом жевать. Затем Ниила стал играть шурупами. Он высыпал их на кушетку, пальцы его дрожали, и я понял, как давно он мечтал повозиться с шурупами. Ниила разложил их по разным отделениям пластмассовой коробки, высыпал их, смешал, снова разложил, снова высыпал. Я хотел было подсобить ему, но Ниила начал злиться, я побыл еще немного и пошел домой. Он даже не оглянулся.

Братья меж тем продолжали драться. Щебенка под ними была вытоптана, образовалась круглая яма. Все те же бешеные удары, та же немая ярость, но в движениях уже заметна медлительность и усталость. Рубахи взмокли от пота. Окровавленные лица покрыты серым налетом, слегка припорошены землей.

И тут я увидел, как они преобразились. Это были уже не мальчишки. Скулы распухли, из разбитых ртов торчали клыки. Ноги стали короче и мощнее, как медвежьи ляжки, разбухли так, что штаны трещали по швам. Ногти почернели и отросли, превратились в когти. И понял я, что не земля у них на лицах. А щетина. Курчавый мех, тьма, расползающаяся по светлым ребячьим щекам, ползущая по шее вниз, за пазуху.

Я хотел крикнуть, предупредить драчунов. Неосмотрительно шагнул в их сторону.

Тут они резко остановились. Повернулись ко мне. Сгрудились, втянули мой дух. И в глазах их я увидел голод. Алчбу. Они хотят есть, они хотят мяса.

Я попятился, леденея от страха. Они захрюкали. Плечом к плечу стали надвигаться, два настороженных зверя. Ускорили шаг. Выскочили из ямы. Когти взрывали щебенку в бешеном беге.

Надо мной распростерлась тень.

Мой придушенный вопль. Страх, писк, визг поросенка.

Дин-дон. Дин-дон-дилибом.

Колокола.

Божественные колокола. Дин-дон. Дин-дон. Во двор въехал велосипед, на нем сидел странник в белых одеждах, сияющий образ, он жал на звонок, сотворяя белесое облако света. Странник резко затормозил. Захватил лапищами обоих зверят, поднял за шкуру и хряпнул друг о дружку головами, как капусту, аж сок брызнул.

– Папа, – запищали они, – папа, папочка...

И свет рассеялся, отец швырнул их на землю, схватил за лодыжки и стал возить сыновьями взад-вперед по щебенке, скородя землю их передними зубами, как граблями. Когда он отпустил их, оба рыдали, и, рыдая, они снова стали детьми. А я побежал домой, только пятки засверкали. И в кармане у меня был припрятан шуруп.

Отца Ниилы звали Исак. Он происходил из крупного лестадианского рода. Еще мальцом его стали водить в душную избу, где молились сектанты: на деревянных лавках, теснясь задами, сидели крестьяне в темных сюртуках и их жены с платками на голове. В каморке было так тесно, что, когда на задние ряды нисходил Святой Дух, люди, отбивая поклоны, стучались лбами о спины впереди сидящих. Среди них сидел Исак, щуплый отрок, сдавленный со всех сторон родными дядями и тетями, которые преображались у него на глазах. Сначала учащалось дыхание, воздух становился спертым и влажным, рдели щеки, запотевали очки, с носа капал пот, все громче пели оба проповедника. Этими словами, этими живыми словами нить

за нитью сотворялось полотно Истины, изображались картины злодеяний, измен, прегрешений, что пытались схорониться в земле, однако их вырвали с корнем и, словно червивой свеклой, потрясали перед собранием. Впереди Исака сидела девочка с косичками, в полумраке волосы ее отливали золотом, с боков она была стиснута беспокойными большими телами. Она сидела тихо, прижимая к сердцу куклу, а вокруг нарастала буря. Страшно смотреть, как рыдают твои папа с мамой. Как такие умные, такие взрослые родственники меняются, растворяются. Страшно маленькому сидеть вот так и слышать, как тебя поливает чужой пот, и думать – это моя вина. Это моя вина – ах, если бы я был хоть капельку добрее. Детские ручки Исака сцепились в крепкий замок, ему казалось, что между ними ползают мураши. Если я разниму руки, мы все умрем, думал он. Если я отпущу их, мы погибнем.

И был день, воскресный день, спустя годы, когда Исаак, высокий, крепкий и возмужавший, пришел на вечерню. Все шло прахом, скорлупа треснула. Ему исполнилось тринадцать, и он ощутил, как в его утробе растет Нечистый, и такой страх обуял Исака, сильнее, чем ожидание взбучки, сильнее, чем инстинкт самосохранения, что пришел Исаак на собрание, сел на лавку и начал бить поклоны, как вдруг упал, уткнулся в лоно Иисуса. И легли кровоточащие ладони на темя и на грудь Исаку – было это второе крещение, так оно свершилось. Выпустил Исаак из родового ларца грехи крови своей и погряз в них.

Ни один из собравшихся не смог удержаться от слез. Великое явилось им. То был им знак сверху. Господь осенил своей дланью отрока и оставил его.

А потом, когда он учился ходить заново, когда он встал на шаткие ноги, они поддержали его. Толстуха-мать прижала его к груди во имя плоти и крови Христовой и оросила слезами его лицо.

Так был указан ему путь проповедника.

Как и большинство лестадиан, Исаак трудился в поте лица. Зимой валил лес, ранним летом сплавлял плоты, смотрел за коровами и огородом в скудном родительском хозяйстве. Работал много, требовал мало, чурался спиртного, карт и коммунистов. По этой причине в рабочей артели ему порой приходилось нелегко, но насмешки мужиков он принимал за испытание, молчал неделями и читал часослов.

В красные дни Исаак очищался молитвами и баней, надевал чистую белую рубаху и темный костюм. Теперь и он мог на собраниях обличать пороки и Нечистого, выступать с двуострым мечом Господним, Законом и Писанием, против всех закоренелых грешников, против клеветников и прелюбодеев, против маловеров и сквернословов, пьяниц, насильников и коммунистов, которые, как вши, расплодились в турнедальской юдоли.

Юное, бодрое, гладко выбритое лицо. Глубоко посаженные глаза. Исаак умел приковать к себе внимание прихожан. Вскоре он женился на соратнице, застенчивой и ладно скроенной финке из Пелло, от которой пахло хозяйственным мылом.

Но, когда пошли детишки, Господь покинул его. Взял и смолк одним днем. Никто не ответил Исаку.

Осталось только огромное, бездонное отчаяние. Тоска. Да исподволь растущая злоба. Исаак начал грешить, больше из любопытства. Мелкие издевательства над ближними. Ему понравилось, он продолжил. Когда обеспокоенные соратники попытались серьезно побеседовать с ним, он осквернил уста свои богохульством. Соратники отошли от него и не возвращались более.

Наперекор забвению, своей пустоте он по-прежнему называл себя верующим. Соблюдал обычаи, воспитывал своих детей согласно Писанию. Правда, на место Бога водрузился сам. И то была худшая форма лестадианства, самая холодная и беспощадная. То было лестадианство без Бога.

В этой-то мерзлоте и воспитывался Ниила. Как большинство детей, выросших во враждебной среде, он спасался тем, что был неприметен. Еще во время нашей первой встречи на детской площадке меня поразило его искусство бесшумно перемещаться. Искусство менять цвет в зависимости от окружения, становясь совершенно невидимым. Главное, не высываться – в этом Ниила был типичным турнедалцем. Ты сжимаешься в комок, чтобы сохранить тепло. У тебя сбитое тело, выносливые плечи, которые начинают болеть к старости. Шаги становятся короче, дыхание – мельче, от постоянного кислородного голода ты немного бледен с лица. Типичный турнедалец ни за что не побежит от врага – какой в том прок? Вместо этого он вбирает голову в плечи и надеется, что все как-нибудь рассосется. В общественных местах турнедалец садится на задние ряды; на турнедалских культурных сборищах часто можно видеть следующую картину: между рампой и публикой зияет десяток пустых рядов, между тем как на задних местах аншлаг.

Руки у Ниилы были в ссадинах до локтей и никогда не заживали. Со временем я понял, что он расчесывает раны. Он делал это машинально, грязные ногти сами тянулись к болячке, расцарапывали ее. Едва нарастала корка, как Ниила начинал колупать ее – расковыривал, отламывал и щелчком запускал куда придется. Иной раз попадал коркой в меня, иной раз с отсутствующим взглядом съедал ее. Еще неизвестно, что противней. Однажды, когда он был у меня в гостях, я сказал ему, чтоб он так не делал, но Ниила только невинно похлопал глазами. И через минуту снова взялся за свое.

Самое странное, что Ниила не умел говорить. Ему ведь целых пять лет. Иногда он открывал рот, словно собираясь сказать; было слышно, как в горле у него клокочет слизистый ком. Раздавалось харканье – казалось, вылетает пробка. Но на этом Ниила останавливался и пугливо замолкал. Он понимал мои слова, это было видно, – с головой у него было все в порядке. Но что-то в нем перемкнуло.

Наверное, сказалось то, что его мать была родом из Финляндии. Молчаливая сама по себе, она была к тому же представительницей многострадальной страны, которую терзали гражданские, белофинские и мировые войны, в то время как ее жирная западная соседка продавала железную руду нацистам и тем разбогатела. Женщина, чувствующая свою неполноценность, она хотела, чтобы ее дети имели то, чего не было у нее самой, – дети должны стать настоящими шведами, поэтому она больше старалась научить их шведскому, а не родному финскому. Но шведский она знала с грехом пополам, потому и молчала.

У меня дома мы частенько сидели на кухне: Ниила любил радио. В отличие от его матери, моя всегда оставляла радио включенным, и оно целыми днями бубнило фоном. Неважно о чем – это могла быть любая передача от “Авторадио” и “Наших праздников” до колокольного звона в Стокгольме, курсов языка и богослужений. Сам я никогда не слушал – в одно ухо влетало, из другого вылетало. Ниила же, напротив, по-моему, обожал сам звук, который постоянно нарушал тишину.

Как-то после обеда я твердо решил, что научу Ниилу говорить. Поймав его взгляд, я ткнул себя пальцем и сказал:

– Матти.

Потом показал на него и стал ждать. Он тоже стал ждать. Я подался вперед и сунул свой палец ему в рот. Ниила разинул пасть, не издав ни звука. Я стал мять ему горло. Ему стало щекотно, он стряхнул мою руку.

– Ниила! – сказал я и приказал ему повторить. – Ниила. Скажи: Ниила!

Он уставился на меня как на дурачка. Я ткнул себя между ног и сказал:

– Писька!

Услышав пошлость, он смущенно улыбнулся. Я показал на мою задницу:

– Жопка! Писька и жопка!

Ниила кивнул и снова прильнул к радио. Тогда я показал на его зад, изображая, как из него что-то вылезает. Вопросительно посмотрел на него. Ниила откашлялся. Я замер в ожидании. В ответ – молчание. Разозлившись, я повалил Ниилу на пол, принялся тормозить его.

– Какашка! Скажи: ка-каш-ка!

Он молча вырвался. Кашлянул, поворочал языком, словно разминая его.

– *Soifa*, – вдруг вымолвил он.

Я остолбенел. Я впервые услышал его голос. Совсем не детский, густой, сиплый. Не особо приятный.

– Чего?

– *Donu al mi akvon*.

Опять. С минуту я сидел огорошенный. Ниила говорит! Он начал разговаривать, вот только я его не могу понять.

Ниила с достоинством поднялся с пола, пошел к крану, выпил стакан воды. После чего ушел домой.

Произошла очень странная штука. В своем безмолвии, в своем одиноком страхе Ниила выдумал собственный язык. Не имея возможности разговаривать, беседовать, он начал придумывать слова, складывать их вместе, строить из них предложения. А может, это был не его язык. Может, он хранился где-то в глубине, в самых потайных уголках мозга. Древнее замороженное знание, которое оттаяло исподволь.

Раз – и мы поменялись ролями. Уже не я, а Ниила был моим наставником. Мы сели на кухне, мать ушла в сад, бубнило радио.

– *Ĉi tio estas seĝo*, – сказал Ниила и показал на стул.

– *Ĉi tio estas seĝo*, – повторил я.

– *Vi nomiĝas Matti*, – показал он на меня.

– *Vi nomiĝas Matti*, – послушно повторил я.

Ниила энергично затряс головой:

– *Mi nomiĝas!*

– *Mi nomiĝas Matti*, – поправился я. – *Vi nomiĝas Niila*.

Он довольно чмокнул губами. В его языке были правила, порядок. На нем нельзя было говорить как попало.

Мы стали общаться на нашем секретном языке, вокруг нас образовалась наша собственная аура, в которой мы чувствовали себя защищенными. Другие мальчишки завидовали и подозрительно косились, но нас это только раззадоривало. Отец и мать испугались, что у меня дефект речи, и позвонили доктору, но тот сказал, что дети часто говорят на вымышленном языке и что это скоро пройдет.

А Ниилу наконец-то прорвало. Благодаря придуманному языку он преодолел робость и вскоре уже всю говорил и по-шведски, и по-фински. Он ведь и до этого многое понимал и скопил богатый запас слов. Оставалось только произнести их, натренировать мышцы рта. Хотя, как выяснилось, было это не так-то просто. Ниила еще долго издавал весьма странные звуки, небо с трудом привыкало к шведским гласным и финским дифтонгам, с губ брызгала слюна. Постепенно я научился кое-как понимать его, но Ниила по-прежнему охотнее говорил на нашем секретном языке. Так ему было спокойнее. Когда мы разговаривали на этом языке, он расслаблялся, движения становились легкими, плавными.

В один из воскресных дней произошло примечательное событие. Церковь была битком набита прихожанами. Шла обычная утренняя служба, служил ее старый добрый пастор Вильгельм Таве, и в обычные дни места было бы предостаточно. Но сегодня царил столпотворение.

А все дело в том, что жители Паялы собрались впервые поглядеть на настоящего живого негра.

Любопытство было столь велико, что пришли даже мои родители, которых в церковь калачом не заманишь, разве что на Рождество. На скамье впереди нас сидел Ниила с родителями и со всей своей родней. Только раз попытался он обернуться в мою сторону, но тут же получил увесистый подзатыльник от Исака. Люди перешептывались и шушукались, здесь были все, от чиновников до лесорубов, даже несколько коммунистов. Все пересуды, понятно, сводились к одному предмету. Правда ли, что этот негр черный, чернее ночи, как исполнители джаза на обложках пластинок? Или он бурый?

Пробил колокол, дверь ризницы отворилась. Оттуда вышел Вильгельм Таве в очках с черной оправой, видно было, что он немного скован. А за ним! В облачении вышел и он. В африканской блестящей мантии, подумать только...

Чернее ночи! Школьные училки начали оживленно перешептываться. Никакой не бурый, а скорее иссиня-черный. Рядом с негром семенила дряхлая диаконисса, худая как жердь, с желтой пергаментной кожей, она много лет посвятила миссионерству. Мужчины склонились перед алтарем, женщина сделала реверанс. А потом отец Таве начал службу с того, что поприветствовал собравшихся и, конечно, прежде всего нашего гостя из далекого Конго, где сейчас идет война. Тамошние христиане остро нуждаются в материальной помощи, и сегодняшний сбор без остатка пойдет в пользу наших братьев и сестер.

Начали отправлять службу. А собрание знай глядело и не могло наглядеться. Когда запели псалмы, негр впервые подал голос. Он знал мелодии – должно быть, у них в Африке поют похожие псалмы. Негр пел на родном наречии глубоким и каким-то вдохновенным голосом, а собрание пело все тише и тише, прислушиваясь к нему. Но вот настало время проповеди, и отец Таве подал знак. Тут произошло невероятное – негр и диаконисса вместе взошли на кафедру.

Паства заволновалась: на дворе стояли шестидесятые, а в те годы женщине в церкви полагалось молчать. Отец Таве предупредительно успокоил собравшихся, сказав, что женщина будет только переводить. Места на кафедре было маловато, диаконисса бочком пристроилась около дородного чужестранца. Пот ручьем тек у нее из-под шляпы, диаконисса вцепилась в микрофон, беспокойно поглядывая на собравшихся. Негр обвел церковь невозмутимым взглядом, в остроконечной небесно-золотой митре он казался еще выше. Лицо было таким черным, что на нем можно было различить только сверкающие белки.

Негр заговорил. На банту. Без микрофона. Он как бы выкрикивал слова, высоко и призывно, словно кого-то искал в джунглях.

– Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! – перевела диаконисса.

Вдруг она выронила микрофон, со стоном стала падать вперед и, наверное, свалилась бы с кафедры, не подхвати ее негр.

Первым подоспел церковный сторож. Взлетев на кафедру, обвинил тощую руку диакониссы вокруг своей бычьей шеи и поволок женщину к выходу.

– Малярия, – жалобно простонала та.

Кожа у нее сделалась желто-бурого цвета, с диакониссой случился приступ, она была в полубморочном состоянии. Еще два члена церковного собора вызвались помочь ей, вывели ее из церкви, посадили в машину и на всех парах умчались в лечебницу.

Собрание и негр остались с глазу на глаз. Все были сбиты с толку. Отец Таве хотел было сменить миссионера, но негр с кафедры уходить не хотел. Раз уж он проехал полмира, чтобы попасть сюда, надо вынести и это испытание. Во имя Господа.

Быстро смекнув, он переключился с банту на суахили. Увы, этот многомиллионный язык, столь широко распространенный на африканском континенте, был почему-то совершенно незнаком жителям Паялы. Ответом негру были непонимающие взгляды. Тот снова поменял язык, в этот раз – на креольский диалект французского. Диалект оказался настолько причудливым, что даже учительница французского не разобрала ни слова. Все больше нервничая,

негр сказал несколько предложений по-арабски. Отчаявшись, попробовал говорить на фламандском, который кое-как выучил за время экуменических путешествий в Бельгию.

Результат – ноль. Никто не понимал ни бельмеса. В этих глухих краях говорили только на шведском и финском.

Окончательно подавленный, негр решил сменить язык в последний раз. Рывкнул так, что задрожали хоры, разбудив задремавшую тетку и напугав младенца, – тот запищал, но ему дали пошелестеть листками церковной Библии, и он успокоился. Тут со скамьи передо мной поднялся Ниила и что-то крикнул в ответ.

В церкви воцарилась гробовая тишина. Вся паства обернулась и уставилась на нахального молокососа. Сверкающие белки негра обратились к мальчику, но тот уже был усажен на место мощным тычком Исака. Африканец поднял ладонь, приказывая Исаку остановиться, и ладонь у него была поразительно светлая. Исак почувствовал взгляд и отпустил сына.

– *Ĉu vi komprenas kion mi diras?* – спросил негр.

– *Mi komprenas ĉion*, – ответил Ниила.

– *Venu ĉi tien, mia knabo. Venu ĉi tien al mi.*

Ниила нерешительно пробрался вдоль скамьи и остановился в проходе. Секунду казалось, что он хочет слинять. Африканец велел ему приблизиться, поманив белой ладонью. Чувствуя, что все смотрят на него, Ниила сделал несколько неуверенных шагов. Ссутулившись, прокрался и встал перед кафедрой, забитый мальчишка с уродливо ощипанной головой. Негр помог парнишке взойти по ступенькам. Ниила едва доставал до края, но негр крепко обнял его и взял на руки. Держа как агнца. Дрожащим голосом возобновил прерванную молитву.

– *Dio nia, kiu aŭskultas niajn preĝojn...*

– Отец наш, Ты услышал наши молитвы, – принялся бойко переводить Ниила. – Сегодня Ты послал нам мальчика. Хвала Тебе, Господи, хвала Тебе...

Ниила понял все, до единого слова. Паяльцы внимали как громом пораженные, а Ниила перевел проповедь до конца. Родители Ниилы, его братья и сестры застыли, точно каменные истуканы, с испуганными лицами. Они были поражены, они понимали, что на их глазах свершилось Божественное чудо. Многие в церкви рыдали от умиления, все были тронуты до глубины сердца. Ликующий шепот пробежал по рядам и вскоре охватил всю церковь. Знак милости! Чудо!

Я же никак не мог взять в толк. Как мог негр знать наш секретный язык? Ведь это был именно тот язык, на котором я общался с Ниилой.

Об этой новости много потом говорили, и не только среди верующих. Еще долго нам звонили из газет и с телевидения, хотели взять интервью, но Исак не разрешил.

Сам я встретился с Ниилой только пару дней спустя. После обеда он как всегда незаметно проскользнул к нам в кухню, все еще напуганный случившимся. Мать дала нам по бутерброду, мы стали жевать. Ниила то и дело как-то напряженно прислушивался.

Как обычно, фоном бубнило радио. Тут меня осенило, и я добавил громкости.

– *Ĝis reaŭdo!*

Я аж подпрыгнул. Наш секретный язык! Проиграла короткая мелодия, и диктор сказал:

– Вы только что прослушали сегодняшний урок эсперанто.

Эсперанто. Так он выучил язык по радио.

Я медленно повернулся к Нииле. Тот сидел с отрешенным видом, глядя куда-то вдаль.

Глава 3

О страшной притягательности склада в Школе домоводства и о нечаянной встрече, где мы забегаем далеко вперед

По соседству с детской площадкой стояло похожее на господский дом большое деревянное здание со множеством окон по всему фасаду. Старая фабрика, теперь здесь располагалась школа для девочек, где, помимо прочего, их учили стряпать и вязать. Все лучше, чем ходить безработной, – здесь девочки становились умелыми хозяйками. Возле школы, которую мы, детишки, так и прозвали Школой домоводства, стоял старый сарай, выкрашенный красной краской; он был набит всяким хламом и пожелтевшими школьными материалами, в которых мы так любили копаться. В одном месте с торца отходили доски, и можно было залезть внутрь.

Стоял жаркий летний день. Зной тяжелой пятой придавил наше селение, запах трав был крепок, как заваренный чай. Я в одиночку крался вдоль стены сарая. Опасливо озираясь, не идет ли сторож. Мы боялись его. Он был силач, носил заляпанный комбинезон и ненавидел любопытных детей. Всегда являлся ниоткуда, испепеляя тебя взглядом. На ногах у сторожа были сабо, в мгновение ока он скидывал их и тигриным прыжком достигал жертву. Никто до меня еще не ускользал от него, сторож точно клещами хватал жертву за шею, поднимал – голова жертвы того и гляди отделится от тела. Помню, мой сосед, пятнадцатилетний бугай, рыдал как младенец, получив взбучку за то, что катался на мопеде в неполюженном месте.

И все же я решил рискнуть. Никогда прежде не бывал я на складе, но слышал рассказы тех, кто дерзнул. Я крался, вертя головой во все стороны, нервы были напряжены до предела. Вроде все спокойно. Встал на карачки, раздвинул доски, просунул голову в лаз и прошмыгнул внутрь.

Из солнечного света я нырнул в крошечную тьму. Зрачки расширились, ослепленные мраком. Долгое время я стоял неподвижно. Затем мало-помалу начал различать предметы. Древние шкафы, списанные парты. Дрова, кирпичи. Треснувший унитаз без крышки. Ящики с электропроводкой, изоляторами. Я стал осторожно бродить, стараясь ни на что не наткнуться. Пахло сухостью, опилками и рубероидом с кровли, нагретым теплыми солнечными лучами. Я плавно продвигался, почти плыл в густом, как кисель, воздухе. Он был оливкового цвета, точно в гуще соснового леса. Я будто ходил между спящими. Осторожно дышал носом, ноздри щекотала пыль. Мои тряпичные тапки беззвучно скользили по цементному полу, мягкие кошачьи лапы.

Стоп! Передо мной вырос великан. Я отшатнулся от черного призрака в полутьме. Оцепенел.

Нет, не сторож. Всего лишь старый отопительный котел. Высокий и тяжелый чугунок. Толстый, как раздобрившая матрона, с огромными литыми заслонками. Я отодвинул ту, что побольше. Заглянул в холодное, черное как смоль чрево. Тихонько гукнул. Голос отозвался металлическим эхом, вдвое сильнее моего. Топка была пуста. Чугунная дева, она хранила лишь память об огне, сжиравшем ее изнутри.

Я аккуратно просунул голову в отверстие. Порыскал рукой, нащупал комья шлака, отстающие от ржавой обмуровки, а может, то была копоть. Внутри пахло железом, окалиной и старой гарью. Я немного поразмыслил, набираясь храбрости. Потом ужом юркнул в тесную топку.

И вот я внутри. Согнулся в три погибели в ее круглом пузе, свернулся зародышем. Попытался выпрямиться, но стукнулся головой. Стал бесшумно задвигать заслонку, пока не погас последний лучик.

Внутри. Она вынашивает меня. Она обороняет меня своими пуленепробиваемыми стенами, будто беременная. Я у нее в брюхе, я ее дитя. Меня разбирала какая-то неприятная щекотка. Чувство защищенности со странной примесью стыда. Словно я нарушил какой-то

запрет. Кого-то предал – может, свою мать? Закрыв глаза, я свернулся клубком, обнял колени руками. Она – такая холодная, а я – такой теплый и маленький, огнедышащий комочек. Прислушавшись, я услышал ее шепот. Слабый шелест, доносившийся то ли из выюшки, то ли из обреза трубы, ласковые и баюкающие слова любви.

Раздался грохот. В сарай, тяжело топая ногами, ворвался сторож. Он был в ярости, клялся, что намылит шею озорникам. Я затаил дыхание, слушая, как он рыщет кругом, опрокидывая шкафы, с грохотом пиная и разбрасывая хлам, словно охотился на крыс. Он бегал по складу и матерился – видно, какая-то ябеда из Школы домоводства засекла меня и наступала. И “мать твою за ногу”, и “*перкеле*” – шведские и финские проклятья сыпались направо и налево.

Встав неподалеку от котла, он втянул носом воздух. Словно учуяв мой дух. Я услышал, будто кто-то скребется о стенку, и понял, что сторож прильнул к моему котлу. Нас разделяла лишь чугунная шкура толщиной в три сантиметра.

Медленно ползли эти секунды. Потом новый скребок и звук удаляющихся шагов. С треском захлопнулась входная дверь. Я остался сидеть внутри. Неподвижно считал томительные минуты. Внезапно вновь послышался стук сабо. Сторож, оказывается, уходил понарошку, чтобы выманить добычу, используя все коварство взрослого человека. Но теперь он окончательно сдался и отправился восвояси – я слышал, как щебенка все тише шуршала под его ногами.

Наконец я осмелился переменить положение тела. Суставы ломило, я толкнул заслонку. Она не поддалась. Я поднатужился. Заслонка не шелохнулась. Меня прошиб ледяной пот. Страх, перерастающий в панику, – должно быть, сторож задвинул щеколду. Я погиб.

Когда схлынуло первое оцепенение, я попробовал кричать. Эхо утратило силу голоса, я вопил с перерывами, затыкая уши пальцами.

Никто не пришел на мой зов.

Осипший и изнуренный, я пригорюнился. Я погибну? Умру от жажды, высохну в этом склепе?

Первые сутки выдались ужасными. Мышцы болели, икры сводила судорога. От сидения в три погибели затекла спина. Страшно хотелось пить – я чуть не сошел с ума. Мои испарения оседали на закопченных стенах, я слышал, как падают капли, пытался лизать стены. На языке остался металлический привкус, от него жажда только усилилась.

На вторые сутки меня взяла одурь. Я то и дело надолго впадал в забытие, качаясь в полудреме. Забытие казалось освобождением. Я потерял счет времени, впадал в сладостное оцепенение, возвращался и чувствовал, что умираю.

Проснувшись в другой раз, я понял, что время не стоит на месте. Зеленоватый дневной свет, пробивавшийся сквозь отверстие крана, стал слабее. Дни становились короче. По ночам я сильно мерз, вскоре ударили первые холода. Сложенный пополам, я мелко прыгал, чтобы хоть как-то согреться.

Зиму я помню не очень отчетливо. Свернувшись калачиком, я почти все время спал. Недели промелькнули как сон. Когда вернулось тепло, я понял, что подрост. Моя одежда стала мала мне и жала. Изрядно повозившись, я сумел стянуть ее с себя и продолжал ждать уже голый.

Постепенно мое тело заполнило тесную котловину. Должно быть, я прожил здесь несколько лет. От моих испарений нутро котла ржавело, с моей головы свисали длинные патлы. Я уже не мог прыгать, а только уточкой переваливался с боку на бок. И не вылез бы, даже если б сумел открыть заслонку, – проход стал слишком узок для меня.

Со временем жить в котле стало почти невозможным. Теперь я не мог двигаться даже бочком. Голова была зажата между коленями. Плечам некуда было расти.

Пару недель я думал, что мне конец.

Наконец я дошел до ручки. Заполнил собой каждую клеточку пространства. Не осталось ни одной воздушной пазухи, мне нечем было дышать, и я только судорожно зевал ртом. Но упрямо продолжал расти.

И вот как-то ночью... Что-то звонко хрустнуло. Будто раскололось карманное зеркальце. Короткая пауза, потом протяжный треск со спины. Я понатужился – стена поддалась. Вспучившись, вдруг брызнула фонтаном осколков, и я очутился на воле.

Гольй, новорожденный – я барахтался посреди хлама. Неуверенно встал на ноги, оперся на шкаф. И с удивлением обнаружил, что мир вокруг меня съезжился. Нет, это просто я стал вдвое выше. На лобке появились волосы. Я стал большим.

На дворе лютовала морозная ночь. Ни души. Я потрусил по снегу вприпрыжку, шлепая босыми ногами, почесал по поселку в чем мать родила. Прямо на перекрестке между хозяйственной лавкой и киоском лежали четыре подростка. Казалось, спали. Я остановился и с удивлением стал разглядывать их. Склонился под светом фонаря, чтоб рассмотреть поближе.

Одним из подростков был я.

Смешанным было мое чувство, когда я лег рядом с самим собой на обледенелое шоссе. Лед кусался, таял, подо мной стало влажно.

Я приготовился ждать. Сейчас они должны проснуться.

Глава 4

О том, как мы пошли в Старую школу, как узнали о Южной Швеции и о том, какими неприятностями может обернуться домашнее чтение

Пасмурным августовским утром прогремел школьный звонок, и я пошел в школу. Первый класс. Мама торжественно вводит нас в высокий желтый деревянный дом, где размещаются начальные классы, в старую школу, получившую затейливое название – Старая школа. В сопровождении мамаш мы протиснулись вверх по скрипучей лестнице и вошли в классную комнату с широкими лимонными половицами, покрытыми толстым слоем лоснящегося лака; каждому показали его место за допотопными партами с откидными крышками, пеналами и прорезями для чернилниц. Парты хранили следы ножевых ранений, оставленных многочисленными поколениями учеников. Мамаши выплыли из комнаты, а мы остались. Двадцать малышей с шаткими молочными зубами и пальцами в бородавках. Кто-то плохо говорил, кто-то носил очки, у многих родным языком был финский, каждого второго били ремнем, почти все происходили из рабочих семей, были затюканы и с самого начала знали, что здесь им никто не рад.

Нашей учительнице шел седьмой десяток, она носила очки в стальной оправе, волосы были стянуты на затылке клубком, покрыты вуалеткой и заколоты шпильками, нос длинный и крючковатый, как у совы. Неизменная шерстяная юбка и блузка, поверх которой учительница часто накидывала кофту, оставляя ее расстегнутой до половины, на ногах мягкие черные тапочки, смахивающие на туфли. Мягко, но решительно выполняла она свою задачу: выстрогать из нас, неотесанных чурбанов, что-нибудь более-менее соответствующее шведской модели.

Для начала каждый выходил к доске и писал свое имя. Одни смогли, другие – нет. По результатам этого научного исследования учительница разделила нас на две группы – первую и вторую. В первую группу попали справившиеся с заданием – боольшая часть девчонок да пара мальчиков из интеллигентных семей. Во вторую группу попали все остальные, в их числе и мы с Ниилой. И хотя нам было всего по семь лет, нам приклеили именно тот ярлык, которого мы заслуживали.

Впереди под самым потолком раскинулись БУКВЫ. Воинственная армия палочек и заколючек, протянувшаяся от стены до стены. С ними-то мы и будем сражаться, одну за другой класть на лопатки в наших тетрадках и с натугой мычать их вслух. Еще нам дали ручки, бумажный пакетик с мелками, книжку родного чтения и жесткую картонную коробочку с лепешками акварельных красок, похожими на разноцветные карамельки. И закипела работа. Застелить бумагой парту, обернуть книги – мы усердно зашелестели рулонами ватмана, который принесли из дома, ретиво защелкали тупыми школьными ножницами. Под конец приклеили скотчем расписание уроков к изнанке крышек. Никто не врубался во все эти загадочные клеточки, но надо – стало быть, надо, расписание есть часть Распорядка и Дисциплины и означает, что наше детство кончилось. Началась шестидневка – с понедельника до субботы, а для желающих была еще и воскресная школа.

Итак, Распорядок и Дисциплина. Стройся перед классом после звонка на урок. Строем ходи в столовую во главе с учительницей. Поднимай руку, когда отвечаешь. Поднимай руку, когда хочешь в туалет. Держи прописи дырочками к окну. Выходи из класса после звонка на перемену. Входи в класс сразу после звонка на урок. Все делается по приказу, все приказы отдаются с кроткой шведской любезностью, лишь изредка сильная женская рука хватает за чуб расшалившегося сорванца из группы номер два. Мы любили нашу учительницу. Уж она-то знала, как вырастить из нас людей.

Рядом с учительской кафедрой стоял коричневый оргагн с педалями. Каждое утро начиналось с собрания; учительница садилась на табуретку и долго жала на педали. Ее полные икры в гольфах телесного цвета набухали, очки покрывались испариной, сморщенные пальцы рассыпались по клавишам и брали тон. Учительница начинала петь дрожащим старушечьим сопрано, краешком же глаза зорко следила, чтобы все пели с ней. Солнечный свет четверился в крестовинах рам, теплом и золотом покрывая ближайшие парты. Запах мела. Карта Швеции. Микаэль – у него часто шла кровь носом, и он сидел, запрокинув голову, с салфеткой в руке. Кеннет – страшный непоседа. Анника – эта всегда говорила шепотом, а мы, мальчишки, были влюблены в нее. Стефан – этот классно играл в футбол, но три года спустя он насмерть разобьется о дерево на лыжном спуске в Иллястунтури. Да еще Туре и Андерс, Ева и Оса, Анна-Карин и Бенгт, ну и все мы, остальные.

Так как жили мы на далеком севере, в Паяле, то и были во всем распоследними. Изучая атлас, мы первым делом принялись за южную провинцию Сконе, изображенную во всех подробностях и сплошь испещренную красными черточками деревенских дорог и черными точками хуторов. За ней идут провинции, изображенные обычным масштабом, чем дальше вы листаете – тем дальше на север. И вот, самым последним, открываете Северный Норланд, на карте которого едва ли найдется хоть одна черточка или точка, пусть и взят он самым мелким масштабом (а то бы не поместился). Почти на самом севере находится Паяла, окруженная бурой тундрой, – здесь живем мы. Пролистав в начало, вы видите, что южная провинция Сконе по величине не уступает Северному Норланду, к тому же она вся такая зеленая-зеленая – там чертовски плодородна земля! Только спустя многие годы, сверив масштабы, я обнаружил, что Сконе, весь наш южный регион, от края да края легко поместится на кусочке Северного Норланда величиной в сотню километров, между Хапарандой и Буденом.

Нам вдолбили, что высота горы Киннекулле составляет 306 метров над уровнем моря. Но ни слова о Кяймьяваре высотой 348 метров. Мы зазубривали названия: Вискан, Этран, Шипучкан, Вонючкан (или как их там?) – имена этих четырех “многоводных” рек, омывающих Южно-Шведскую возвышенность. Много лет спустя я увидел их воочию. Остановил машину, вышел из нее, протер глаза. Жалкие канавы! Лесные ручейки, по которым не сплывишь и бревна. Вроде Каунисйоки или Ливизйоки, не более.

Таковыми же чужими мы были и на культурном поприще. Поём: “Вы видали старика, старика Боровика?”

Чего не видали, того не видали. Ни старика Боровика, ни бабки Поганки, ни кого-то из их родни.

Иногда из Сберегательного банка мы получали детский журнал под названием “Счастливая монетка”, на обложке которого красовался вековечный дуб. Журнал наставлял нас, что если копить деньги, то они вырастут величиной с такой вот дуб. Но в Паяле не растут дубы, и мы решили, что в рекламе есть какой-то подвох. То же самое с шарадами из этого журнала, в которых часто попадалось высокое дерево, похожее на кипарис. Правильный ответ – можжевельник. Но ведь можжевельник совсем не такой, это ведь такие колючие, взъерошенные кусты не выше колена.

Уроки пения напоминали священнодействие. Учительница ставила на кафедру громоздкий бобинник, здоровенный такой ящик с кнопками и ручками, медленно заправляла пленку и раздавала песенники. Потом, вперив в нас совиные очи, включала питание. Бобины начинали мотать магнитную ленту, из динамиков раздавался бойкий позывной. Энергичный женский голос вещал на чистом шведском языке. Бодро кудахтая, женщина на пленке вела идеальный урок пения! С учениками из музыкальной школы в Накке. Я и по сей день не могу понять, чего ради нас заставляли слушать, как эти южане ангельскими голосочками тянут песенки о каких-то там подснежниках, ландышах и прочей тропической растительности. Порой они пели соло, и, что хуже всего, один из солистов был моим тезкой.

“Маттиас, будь добр, возьми эту ноту еще раз”, – щебетала дама на пленке, и девчачий дискант заливался колокольчиком. Весь класс оглядывался на меня и угорал со смеху. Я был готов сквозь землю провалиться.

Прослушав методический материал несколько раз, мы начинали петь вместе с ними – эдакий ансамбль погорелого театра и Венский хор мальчиков. Глаза нашей учительницы зорко следили за нами, девочки еле слышно шелестели, как умирающий ветер в прошлогодней траве. Мы, мальчишки, сидели, будто набрав в рот воды, и только когда учительские “фары” зыркали на нас, начинали беззвучно шевелить губами, не более того. Петь – это бабское дело. По-нашему, *кнапсу*. Так что мы молчали.

Со временем мы поняли, что на самом деле мы живем не в Швеции. Наш край затесался в ее состав по чистой случайности. Северный придаток, заболоченные пустоши, кое-где заселенные людьми, которых и шведами-то можно назвать с натяжкой. Мы были иные – малость отсталые, малость неграмотные, малость нищие духом. Ну не водились у нас косули с ежами и соловьями. Ну не было у нас знаменитостей. Ни американских горок, ни светофоров, ни дворцов с усадьбами. Все, чем мы богаты, – это тучи мошкары, вычурная турнедальская брань и коммунисты.

Мы были детьми дефицита. Не материального, нет, – с этим мы кое-как справлялись, – а духовного. Мы были ничьи. Наши родители были ничьи. Наши предки были ноль без палочки для шведской истории. Редкие залетные преподаватели, приехавшие к нам на время из настоящей Швеции, не то что выговорить – написать наши фамилии толком не могли. Мы боялись заказывать музыку в известной передаче “До тринадцати”, чтобы ведущий Ульф Эльвинг не подумал, что мы финны. Наши селения были так малы, что их не было видно на карте. Мы едва сводили концы с концами и жили на казенные субсидии. На наших глазах загнулось наше семейное хозяйство, поросли бурьяном наши луга, на наших глазах по Турнеэльвен прошли последние плоты, и больше мы их не видели, на наших глазах на смену сорока крепким лесорубам пришли чадающие дизели, на наших глазах отцы повесили рукавицы на гвоздь и неделями стали пропадать на далеких Кирунских шахтах. Мы хуже всех в Швеции писали контрольные по шведскому языку. Мы не умели вести себя за столом. Дома мы ходили с шапкой на голове. Мы не собирали грибов, не ели овощей, не ловили раков. Мы не умели беседовать, не умели декламировать, красиво паковать подарки и толкать речи. Мы ходили с вывернутыми ступнями. Мы говорили с финским акцентом по-шведски, хотя не были финнами. Мы говорили со шведским акцентом по-фински, хотя не были шведами.

Мы были никем.

Оставалось одно. Одна-единственная лазейка для тех, кто хотел выбиться в люди, хоть в самые маленькие людишки. Свалить! Мы свыклись с этой мыслью, мы были уверены, что это наш единственный шанс, и мы его использовали. Вот в Вестеросе ты станешь человеком. И в Лунде. И в Сёдертелье. В Арвике. В Буресе. То была всеобщая эвакуация. Поток беженцев, опустошивший нашу округу, и что странно – эта миграция была совершенно добровольной. Незримой войной.

Сюда возвращались только мертвецы. Жертвы аварий. Самоубийцы. Позже к ним добавились жертвы СПИДа. В тяжелых гробах опускались в мерзлую землю среди берез на паяльском кладбище. Добро пожаловать домой! *Котимаасса!*

Ниилин дом, выходящий на реку, был построен в одном из тех старинных мест, откуда началась Паяла. Просторный ладный сруб конца прошлого века с большими крестовыми рамами, идущими вдоль продольной стены. Если присмотреться, на фасаде можно заметить шов: к дому была сделана пристройка. На крыше осталось две трубы от двух отдельных печей – дом стал слишком большим, и одной печи не хватало. Во времена расцвета лестадианства дом был естественного серого цвета, но в сороковых годах стал красным с белыми оконными

рамами. А чтобы дом меньше походил на развалившийся хлев, по последнему слову моды и к вящему огорчению хранителей культуры и ценителей изящного, ему обкорнали углы. Со стороны реки к дому подходили заливные луга, тысячелетиями щедро удобрявшиеся илом во время половодий; здесь росла жирная трава, от которой наливались молоком коровы. Вот и присмотрел это место первый поселенец, шедший мимо несколько веков назад, снял он с плеч свою котомку и стал здесь жить.

Только вот уж который год луга были некошены. Бильем поросли они, только веники торчали повсюду. Забвением, ветхостью дышало это место. Неприветливо встречало. Таило в себе какую-то стужу, как если человека горько обидеть в детстве, и эта обида гложет его изнутри.

Хлебный амбар сохранился, однако со временем превратился в сарай и гараж. Мы только что вышли из школы и поехали к Нииле домой. На сегодня мы поменялись великами. Ниила взял мой, навороченный, с мягкой вытянутой сидухой и вывернутым рулем. Я катил на его “рексе” (“Рекс-фекс, горелый кекс”, – обычно кричали вслед Нииле задиристые третiekлашки). Въехав со мной во двор, Ниила сразу повел меня в амбар.

По крутой рубленой лестнице, за сто лет до блеска отполированной ногами, мы поднялись наверх. Здесь царила полутьма, вечерний свет пробивался в узкое подслеповатое оконце. Кучи хлама, изломанные стулья, ржавая коса, эмалированные ведра, свитки ковров, подернутых гнилью. Мы остановились у боковой стены. Перед нами высилась гигантская этажерка, заставленная рядами книг с потрепанными кожаными корешками. Наставления, часословы, жития святых на финском и шведском, громоздящиеся друг на дружке. Никогда прежде не доводилось мне видеть столько книг, собранных в одном месте, школьная библиотека не в счет. Это выглядело как-то неестественно, даже неприятно. Зачем столько книг? Кто их осилит? Чего они спрятались здесь в сарае, словно им стыдно за себя?

Ниила открыл ранец и вытащил книгу родного чтения. На дом нам было задано прочитать отрывок; Ниила отыскал его, бесцеремонно ворочая страницы грязными мальчишескими пальцами. Сосредоточенно стал читать вслух по слогам, с великим трудом складывая их в слова. Наконец, осатанев от чтения, с шумом захлопнул книгу. И вдруг, я глазом не успел моргнуть, со всей дури швырнул ее с лестницы. Книжка стукнулась корешком об пол и рассыпалась по грубым половицам.

Я смущенно уставился на Ниилу. Он улыбнулся, на щеках играли пунцовые пятна, а длинные клыки делали его похожим на лисицу. Выхватил из необъятного книжного ряда катехизис, тоненькую книжицу в мягком переплете. Кинул вслед за первой. Тончайшие шелковые странички печально зашелестели и разлетелись. Вслед им полетели сборники, два грузных коричневых толстяка с коротким треском хряпнулись об пол и расстались со своей листвою.

Ниила задорно посмотрел на меня, приглашая присоединиться. Чувствуя, как сердце радостно колотится в груди, я тоже схватил книгу. Запустил ей, она полетела – при этом из нее выпорхнуло несколько страниц – и ударилась о ржавую борону. Вот умора-то! Войдя в раж, мы стали хватать книги без разбору и, подбадривая друг друга, крутящейся свечой пускали их к потолку, пинали с такой силой, что аж страницы дымились; мы чуть со смеху не надорвались, опустошая полку за полкой.

Внезапно на пороге возник Исак. Огромный как гора, немотный и почерневший. Ни единого слова, только грубые мясистые пальцы, судорожно отдирающие бляху ремня. Гневным жестом указал мне на дверь. Я, как трусливая крыса, прошмыгнул мимо него и пустился наутек. Ниила остался. Дверь за мной затворилась, и я услышал, как Исак лупит его.

На мгновение я отрываюсь от дневника, который начал в Непале. Электричка подходит к Сундбюбергу. Занимается рассвет, пахнет отсыревшими куртками. В моем учительском портфеле лежит папка с двадцатью пятью проверенными сочинениями. Февральская хлябь,

через четыре месяца ярмарка в Паяле. Мельком гляжу в окно. Высоко над перроном кружат галки, вьются, вьются взбудораженным кубарём.

Взгляд мой возвращается к Турнедалену. Глава пятая.

Глава 5

О бесстрашных вояках, о группировках и об искусстве вытаптывать лыжные спуски

Каждый день, когда в Школе домоводства заканчивался последний урок, мимо нашего дома проходили толпы шестнадцати-семнадцатилетних девчонок. Классные телки. Не забывайте, это были шестидесятые – тонны макияжа, накладные ресницы и короткие-короткие клеенчатые сапоги в обтяжку. Мы с Ниилой повадились подглядывать за ними с сугроба у нашего дома. О чем-то переговариваясь, девчонки кучками шли мимо нас, без шапок даже в самую холодную пору (чтоб не испортить прическу). Дымили как паровозы, оставляя за собой приторно-сладкую смесь сигаретного дыма и духов, – этот запах по сей день вызывает у меня сладостные воспоминания. Бывало, они здоровались с нами. Мы краснели и делали вид, что строим снежную крепость. В семь лет у нас уже определенно был интерес. Назвать это похотью, конечно, нельзя – это была скорее томительная нега. Мне хотелось поцеловать их, прижаться. Ластиться к ним, будто котенок.

Как бы то ни было, мы стали кидать в девчонок снежками. Наверное, для того, чтобы они почувствовали, что мы мужики. Как ни странно, это подействовало. Дюжие шестнадцатилетние валькирии пугливо шарахались, как стадо оленей, визжали и пищали, укрываясь косметичками. Вот глупые. Мы ведь и снежки-то толком лепить не умели, кидали свечой, почти не попадая, – снежки мягко планировали, как финские варежки. Однако шороху наводили. Мы были силой, с нами надо было считаться.

Так продолжалось несколько дней. Вернувшись из школы, мы загодя готовили боезапас. Воображали себя двумя виттульскими вояками, двумя матерыми ветеранами, выполняющими спецзадание на чужом континенте. Под ложечкой было щекотно от ожидания. Эти бои приближали нас к тем сладостным ощущениям, о которых мы пока только догадывались. С каждой новой битвой росли наши петушиные гребешки.

И вот наконец показались девчонки. Несколько групп, идут на разном удалении друг от друга, по пять-десять человек. Завидев их, мы прячемся за сугробом. План тщательно продуман. Мы пропускаем первую группу и атакуем их со спины, остальные кучки резко тормозят прямо перед нами. Паника и сумятица. И, разумеется, восхищение нашей удалью молодецкой.

Сидим в засаде. Слышим приближающиеся шаги, девичьи голоса, прокуренный кашель, смешки. Вмиг выскакиваем из-за сугроба. У каждого по снежку в правой руке. Завидев девчонок, как два викинга, с воинственным кличем кидаемся в бой. Но только мы собрались смять их со спины, как обнаруживаем, что одна из девчонок не убоялась. Встала за несколько метров от нас. Светлые длинные волосы, размалеванные глаза. Пристально смотрит на нас.

– Только киньте еще раз, я вам ноги поотрываю, – шипит она. – Так отделаю, что родная мать не узнает...

Мы с Ниилой пугливо опускаем снежки. А девица, напоследок еще раз грозно глянув на нас, идет догонять подруг.

Так мы и стояли. Опустив глаза. А на душе осело какое-то огромное, тревожное смятение.

Детство паяльских мальчишек проходило в постоянной борьбе группировок. Именно так местные пацаны выясняли между собой отношения. Втягивались в группировку с пяти-шести лет и выходили из нее к четырнадцати-пятнадцати годам.

Группировки действовали примерно так. Скажем, поссорились два карапуза. Андерс стукнул Ниссе, Ниссе заревел. Не будем вдаваться в причину ссоры, исконную вражду или возможные межродовые распри. Просто один пацан отдубасил другого, и оба разошлись по домам. С этого начинается цепочка.

Пострадавший, то бишь Ниссе, бежит жаловаться своему брату, который двумя годами старше Ниссе. Старший брат ходит по району, держит ухо востро и, отыскав обидчика, хорошенько отделяет его, чтоб неповадно было. Андерс ревет и бежит жаловаться брату, четырьмя годами старше Андерса. Тот ходит по району, держит ухо востро. Увидав Ниссе или его брательника, отделяет их хорошенько и советует не попадаться ему в другой раз. (Успеете следить?) Обиженные вкратце излагают суть дела взрослому двоюродному братцу, пятью годами старше Ниссе. Тот отделяет Андерсова брата, самого Андерса да заодно пару дружков, вызвавшихся защищать их. Оба старших брата избитых дружков, шестью годами старше Андерса, ходят по району, держат ухо востро. Всем оставшимся родным, двоюродным, троюродным братьям и прочим родственникам Ниссе вкратце объясняют расклад, хронику того, кто кого бил, когда и в каком порядке, – то же происходит в стане Андерса. Сгущают краски для пущей убедительности. Делаются энергичные попытки привлечь на свою сторону восемнадцатилетних двоюродных братьев и даже отцов, но те отказываются, говоря, что все эти разборки салаг им до одного места.

А разборки тем временем продолжались. В самые большие группировки втягивались школьные товарищи, соседи и все другие возможные приятели, особенно если зачинщики были из разных районов. Тогда Виттулаянка сходилась с Паскаянкой, Страндвеген шел на Техас, и разгоралась война.

Жизнь группировки длилась от пары дней до нескольких месяцев. Обыкновенно разборки продолжались одну-две недели и проходили по вышеописанному сценарию. На первом этапе, соответственно, раздавались затрещины и хныкала мелюзга. На втором этапе в дело вступали вожаки, они ходили по поселку, держа ухо востро, а мелюзга сидела дома и жалась по углам. Попадись кто из малявок в этот момент, я им ой как не завидую. Именно этот этап был для меня хуже всех – вечный страх на пути между школой и относительно спокойным домом. Последним шел этап разоружения, когда уже никто не мог или не хотел вникать во все эти запутанные расклады и разветвления, и дело предавалось забвению.

Но прежде, как мы помним, вас подстерегали опасности. Зима. Ты гребешь на своем снежокате в лавку, чтобы купить развесных карамелек. Рано смеркается, редкие снежинки падают с бездонного свинцового неба, звездочками мерцают в лучах фонарей. И вот ты гребешь промеж сугробов, полозья твоих самокатных саночек вязнут в свежем снегу, а с Кирунского проезда слышен гудок снегоуборочного трактора, который пытит, продираясь сквозь снежные заносы. Вдруг, вон там на перекрестке, появляется кто-то из больших ребят. Черный силуэт старшекласника. Он идет навстречу, ты останавливаешься, пытаешься угадать, кто это. Уже хочешь повернуть, но сзади откуда ни возьмись выныривает другой старшекласник. В темноте ты никак не можешь разобрать, кто это, но он большой. Ты окружен, малявка на снежокате. Делать нечего, остается только надеяться. Ты вбираешь голову в плечи и подгребаешь к первому, он внимательно рассматривает тебя, фонарь залеплен снегом, и лицо встречного скрыто во тьме, парень делает шаг вперед, и душа твоя уходит в пятки. Ты готовишься к худшему: сейчас насуют снега за шиворот и в карманы, настучат по черепушке, закинут шапку на березу, сейчас будут сопли, слезы и унижение. Ты замираешь, как теленок на бойне, а парень подходит все ближе. Он вырастает перед тобой, и ты вынужден остановиться. Он здоровый как мужик, и ты его не знаешь. Он спрашивает, из чьих ты будешь, – ты прикидываешь, что сейчас в поселке как минимум три группировки, судорожно перебираешь их в голове, отвечаешь наугад и надеешься, что попал. Парень хмурит брови и сбивает с тебя шапку. Потом цедит:

– Твое счастье!

Смахнув с шапки снег, ты гребешь дальше и мечтаешь поскорее стать взрослым.

Дело близилось к весне, самые лютые морозы остались позади. Дни все еще были короткими, но в полдень уже показывалось солнце, багряным апельсином висело оно над заиндеве-

лыми крышами. Мы пили свет жадными глотками, и огненно-золотистый сок наполнял наши жилы радостью. Мы будто выбрались из берлоги, проснувшись от зимней спячки.

В эту пору мы с Ниилой решили опробовать Лестадианский спуск. Сразу после школы надели наши деревянные лыжи на проволочных креплениях и поехали напрямки через парк. Смеркалось, лыжи сантиметров на двадцать уходили в глубокий рыхлый снег. Ниила прокладывал лыжню, я шел за ним, две неясные тени в мглистых сумерках. Поодаль, за домом-музеем Лестадиуса, колокольнями высились ряды огромных разлапистых елей. Немые и священные исполины – их думы витали много выше наших.

Звонко хлопая лыжами, мы пересекли обледеленый Лестадианский проезд, уже зажглись фонари. Легко взлетели на очередной сугроб и нырнули во тьму, круто уходящую вниз к реке. Прощмыгнули мимо бюста Лестадиуса. Тот следил за нами из-за берез, а на макушке его красовался снеговой чепец. Фонари вскоре пропали из виду, но и без них было не так темно. Свет, преломляясь в миллионах хрустальных снежинок, разрастался облаком и, казалось, плыл над землей. Глаза постепенно обвыклись в темноте. Перед нами открылся склон, длинной и головокружительной лентой уходивший к реке. Правда, пока он не годился для спуска: мы по пояс вязли в снегу. Тогда, поставив лыжи поперек, мы стали утаптывать его. Пядь за пядью спускались по склону. Трамбовали снег, прессовали его тяжестью наших тщедушных тел, прокладывая узкий желобок вниз, до самой речки. Мы работали бок о бок, пот струился под одеждой. Наконец, спустившись, повернули назад. Поднялись той же дорогой, с настырностью осла наступая на собственные следы. Утрамбовали снег еще плотнее, изо всех сил стараясь сделать спуск как можно жестче, ровнее.

И вот мы на вершине. Пришли туда, откуда начали наш непосильный труд. Ноги ходят ходуном, вздымается грудь, а перед нами раскинулся готовый спуск. Широкая ровнехонькая улица длиной в тысячу поперечных лыж. Мы стоим рядом – я и Ниила. Всматриваясь во мглу. Спуск растворяется в зыбком, сумрачном мире грез, точно леска исчезает в проруби. Расплывчатые тени, еле слышное колыхание в глубине. Тонкая нить, канувшая в сон. Переглядываемся. Потом разворачиваемся лицом к спуску, отталкиваемся бамбуковыми палками. Одновременно ухаем вниз.

Летим. Скользим. Вихрем мчимся в ночь. Хрустит снег. Мороз рвет щеки. Два распаренных мальчика, две дымящиеся сосиски, брошенные в морозильник. Все быстрее, все яростнее бег. Локоть к локтю, два открытых рта, два теплых зияющих жерла, всасывающие ветер. Как здорово утрамбовано, просто класс! Колени – пружины, ноги – колья, плотно упакованные в лыжные штаны. И ветер, растущий в теле ветер, и скорость, почти немислимая скорость, сверкающий снег, вой ветра, вихри.

И вот, наконец. Раскатиный гром сотрясает лед Турнеэльвен до самой Перьяваары, и пространство колется, как зеркало. Мы преодолели звуковой барьер. Небо становится жестким и колючим, как щебень, мы врезаемся в него, падаем одновременно. Лежим бок о бок в курящемся облаке снега, два дымящихся ядра, руки раскинуты, палки устремлены вверх, в пространство, каждая – к своей сияющей звезде.

Глава 6

О том, как старуха села одесную Господа Бога, а также о превратностях дележа земных богатств

Промозглым весенним днем Ниилина бабушка покинула сей бранный мир. Пребывая в здравом рассудке до самого конца, предсмертным шепотом исповедалась она на смертном одре, лизнула просвирку кончиком коричневого языка и окропила губы вином. Тут старуха сказала, что видит свет, видит, как ангелы небесные пьют ряженку из ковшей, и преставилась; при этом тело ее полегчало на два грамма – ровно столько весила ее бессмертная душа.

Улосвейсу, поминки для ближайших родственников, назначили в тот же день. Сыновья пронесли покойницу в открытом гробу ногами вперед по всем комнатам, чтобы та могла прощаться с домом; собравшиеся пели псалмы, пили кофе, потом наконец тело увезли в морг.

Тогда стали готовиться к самой панихиде. Паяльский телефонный узел раскалился добела, из почтового отделения по всему Норботтену, в Финляндию, Южную Швецию, в Европу и другие части света устремились потоки траурных извещений. Немудрено, ведь всю свою жизнь бабуля без устали плодила потомство. Двенадцать детей было у нее, ровно по числу апостолов, и, подобно апостолам, разбрелись ее дети по всей земле. Одни жили в Кируне и Лулео, другие под Стокгольмом, третьи в Векшё и Кристианстаде, Франкфурте и Миссури и даже в Новой Зеландии. Только один по-прежнему жил в Паяле – то был отец Ниилы. И все собрались на похоронах, даже оба покойных сына старухи, о чем впоследствии поведали собранию ясновидящие тетушки. Они сказали, что еще во время зачинного псалма поинтересовались, что там за мальчики склонились у гроба, но позже заметили, что по краям от мальчиков исходит какое-то свечение, а ноги парят на вершок от земли.

Еще там были внуки и правнуки со всего мира, удивительно опрятные существа, говорящие на всевозможных диалектах. Внуки из Франкфурта лопотали по-немецки, американцы и новозеландцы картавили на смеси шведского с английским. Из юного поколения только Ниила и его братья с сестрами знали наше турнедальское наречие, да они большей частью помалкивали. Эта чудовищная каша из языков и культур, бурлившая во время службы в Паяльской церкви, лучшее свидетельство тому, сколь велика детородная сила одной-единственной плодовой турнедальской утробы.

Провожая старуху в последний путь, говорили много и обильно. Заверяли, что покойница трудилась в поте лица, жила постом и молитвами. Таскала и поднимала, поднимала и таскала, ходила за коровами и детьми, управлялась с сеном почище кобылы с тремя боронами, наткала полкилометра половиков, собрала три тыщи ведер ягод, натаскала сорок тыщ ведер воды из колодца, вырубилась добрый остров леса, выстирала гору белья, без единой жалобы выкачала бочки дерьма из выгребной ямы, а когда копала огород, строчила картошкой в ведро, как из пулемета. И это лишь малая часть.

В последние годы, прикованная к постели, она осмнадцать раз прочла Библию от корки до корки – разумеется, в старом финском переводе, которого не коснулась скверна этих новомодных безбожников из комиссий по современному переводу Библии. Писание, конечно, не идет ни в какое сравнение со Словом Живым – тем, что двуострым мечом разит скверну во время молитв, – но раз уж у бабули было время...

Как обычно бывает на похоронах выдающихся турнедалцев, проповедники в основном говорили об адских муках. Подробно живописали вечно пылающую угольную дыру, где грешники и маловеры шипят, аки шкварки в кипящем смоляном котле, а сам хозяин Преисподней прокалывает их вилами, чтобы стек сок. Народ на лавках скорчился, старухины дочери с накрученными волосами и в модных тряпках, те так вообще лили крокодиловы слезы, а жестокосердые зятья беспокойно ерзали на месте. Однако теперь им дается шанс одним махом раз-

нести семена раскаяния и милости чуть не по всему земному шару, и нет прощения тому, кто не использует такой шанс. А кроме того, бабушка оставила после себя целую тетрадку записей, где подробно расписала, как ее следует хоронить; пожелала, чтобы в проповедях было побольше Наставлений, поменьше Евангелия. Ну и чтобы никаких дешевых отпущений направо и налево.

И вот наконец небесные врата отворились, хоры ангелов сладостным дыханием осенили Паяльскую церковь, земля содрогнулась – и бабушка была допущена к Отцу Небесному. Тут тетушки в платках задрожали, зарыдали и бросились лобызаться во имя тела и крови Христовой, в проходах и на скамьях запахло свежим сеном, здание церкви оторвалось на полвершка от фундамента и, гулко громыхнув, встало на место. А праведным явился также свет, райский свет, как если сквозь сон на мгновение открыть глаза в безмолвную полярную ночь, – вы выглядываете в окно и на ночном небосклоне видите зарницу полярного солнца, лишь один миг, и снова лениво закрываете глаза. А когда просыпаетесь поутру, вас распирает какое-то великое, небывалое чувство. Наверное, любовь.

После панихиды всех позвали пить кофе с выпечкой. Тоска сразу улетучилась, появилась даже какая-то беспечность. Бабушка-то теперь у Христа за пазухой. Можно расслабиться.

И только на лице Исака застыла угрюмая маска. Он бродил в потертом сюртуке проповедника, и хотя все знали, что он давно ожесточился сердцем, все-таки надеялись услышать от него хоть пару слов у могилы матери. Покаяние блудного сына. Кто знает, может, его вновь коснется пробуждение? На похоронах родителей, когда думы о суетности и бренности мира разом преодолевают скорбящего, случались и не такие чудеса. Перст Божий раскаленным железом пронзал черствые сердца – и таял лед, и являлся Святой Дух, и скорбь о прегрешениях исторгалась из сердца раскаявшегося, как помой из грязного горшка, после чего даровалось ему очищение, и становился тот горшок Божественным Сосудом, из которого сочился, орошая землю, елей. Но Исак только тихо пробормотал что-то невнятное, про себя. Даже на первом ряду не разобрали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.